

ГАСАН ГУСЕЙНОВ

ПСИХОЛОГИЯ
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО
МИФА



Издательство АСТ
Москва

УДК 291-053.2
ББК 82.3(0)
Г 96

Гусейнов, Гасан

Г96 Психология древнегреческого мифа / Гасан Гусейнов, Фаддей Зелинский. — Москва: Издательство АСТ, 2019. — 528 с. — (Классика лекций).

ISBN 978-5-17-110464-1

Выдающийся филолог конца XIX — начала XX Фаддей Францевич Зелинский вводит читателей в мир античной мифологии: сказания о богах и героях даны на фоне богатейшей картины жизни Древней Греции. Собранные под одной обложкой, они станут настольной книгой как для тех, кто только начинает приобщаться к культурной жизни древнего мира, так и для её ценителей.

Свои комментарии к книге дает российский филолог, профессор Гасан Гусейнов.

УДК 291-053.2
ББК 82.3(0)

«МРАМОР, ДОРАЩЕННЫЙ ГИПСОМ»

Когда тридцать лет назад в ныне не существующем издательстве «Московский рабочий» готовилось первое издание этой книги, о Фаддее Францевиче Зелинском было писать намного легче, чем теперь. Тогда еще не вышла его автобиография, написанная по-немецки на основе дневниковых записей, и последний дневник 1939–1944 годов. Внезапно свалившаяся на россиян свобода слова позволила говорить обо всех, но взахлеб. Мы пользовались этой свободой по-разному, хотели сказать только то, что тогда казалось главным.

А что было главным тогда в биографии знаменитого филолога-классика, немецкого ученого и поляка, русского поэта-переводчика и консервативного мыслителя? Вот это самое и казалось главным — множественная идентичность. Лучшие свои научные работы он написал по-немецки, лучшие переводы и вещи просветительские — по-русски. Счастье, немного тщеславное, стать одним из основателей свободного — свободного и от Российской империи, и от Германского рейха — Варшавского университета оборвалось в 1939 году, когда Польша снова была растерзана, и уже престарелый ученый уехал на склоне дней к сыну Феликсу, в Баварию.

Но составителю этой книги неожиданно повезло, и этим невероятным везением я и должен поделиться с читателем. Вскоре после выхода книги Зелинского о древнегреческой мифологии я оказался в том самом городе, где наш автор провел свои студенческие и аспирантские годы — 70–80е годы девятнадцатого столетия. Век спустя в эти же десятилетия XX века студентом был и я. А еще полвека спустя, в десятые годы XXI века, уже мои студенты едут в Германию, чтобы провести там — кто семестр, а кто и год, а некоторые — даже и целую молодую жизнь. Моему-то поколению этот опыт был заказан: из советских студентов только единицы выпускали учиться за границу: в 1970–1980-е гг. это делали

только для того, чтобы оправдать отправку в иностранные университеты детей больших начальников. Но времена изменились, и тут выяснилось, что без опыта молодого Зелинского, еще и не помышлявшего о сочинении книг о греческой мифологии для послереволюционного раннесоветского юношества, мы мало что поймем в его позднем порыве написать книгу, которую сейчас предстоит раскрыть читателю.

Если ты, читатель, хочешь потратить несколько минут своего времени на личное знакомство с молодым Фаддеем Зелинским, сделай это прямо сейчас. Биографический очерк 1993 года мы решили оставить как есть, а я расскажу только о своих встречах с Зелинским в Лейпциге.

Первая встреча — была, конечно, за книгой. Зелинский рассказал, как он сходил с немецкими, польскими, русскими студентами и профессорами в Германии. До чего же этот опыт был похож на мой и — десятилетия спустя! — моих студентов. Его принимают с восторгом — как талантливого студента и докторанта. Но вот юный Тадеуш / Фаддей выслушивает от немецкого однокашника суждение о собственном имени.

— Правда, что ли, «Тадеуш»? Слушай, у нас в деревне человек с таким именем сразу повесился бы!

Никогда не оказаться вполне своим ни в России, ни в Германии, ни в Польше — горько. Своему материнскому языку он научится вполне только несколько десятилетий спустя, а пока, в Лейпциге 1870-х—1880-х годов его главные языки — немецкий, латынь и русский. Как русский подданный польского происхождения с полируемым до блеска немецким языком, Зелинский не только готовился к университетской стезе в России, но и впитывал дух корпорации в университетских Лейпциге и Мюнхене.

Тридцать лет спустя, после возвращения в Россию из многолетней стажировки в Германии, Греции и Италии, он напишет некролог безвременно умершему Иннокентию Анненскому, переводчику Еврипида — райской птице тогдашней русской поэзии. До конца жизни Зелинскому будет не хватать Анненского, третьего великого переводчика аттических трагиков: переводом Эсхила прославился Вячеслав Иванов, переводом Еврипида — Анненский, переводом Софокла — сам Ф.Ф.

Была и злая ирония в том, что Зелинский переводил Софокла — со-основателя учения Зигмунда Фрейда об устройстве человеческой психеи. Внебрачные дети Зелинского, которые призваны были улучшить человеческую породу, либо погибли страшной смертью на взлете (как Адриан Иванович (на самом де-

ле — Фаддеевич-Пиотровский), либо промучились весь свой век в Советской России и в нацистской Германии.

В конце 1980-х по-русски никак нельзя было еще писать о Зелинском как о ницшеанце. Еще бы: Ницше был тогда в официальной советской идеологии чуть ли не предтечей фашизма. Как бы несправедливо это ни было. Но если учесть, что Зелинский с интересом и даже поначалу не без симпатии «за возрождение традиции» относился, по крайней мере, до прихода нацистов к власти в Германии, к культурной политике Муссолини, то понятно, что круг ницшеанских идей полагалось убирать из текстов о возрождении античности в духе Зелинского.

Его (и Вячеслава Иванова) Ницше, нужно признать, не так безобиден, как можно было подумать в годы юности и зрелости обоих мистагогов. Идея человека как всего лишь моста между массивным зверем и богоподобным сверхчеловеком уже тогда воспринималась критическими философами как аристократический миф с самыми тяжкими последствиями его укоренения в тоталитарной Европе. Но в истолковании Зелинского это была, скорее, мечта о культурном человеке-филантропе. Теперь мы знаем, что «сверхчеловек» Ницше не только не предтеча нацистского человекозверя, в чем, к несчастью, убедила нацистских бонз сестра страдальца — недоброй памяти Элизабет, а, может быть, самое яркое синтетическое художественное воплощение двух революций рубежа XIX–XX веков — революции общественной и революции в представлении о душе. Зелинский находил человеческое измерение науки и образования в регулярных встречах с лейпцигскими коллегами в пивных этого чудесного города.

Те, что упомянуты в автобиографии Зелинского, мне довелось обойти сто тридцать лет спустя, в конце 2000-х годов, с сотрудниками Лейпцигского университета — моей женой Мариной и нашими друзьями — Гертой и Винфридом Эберхардами, Ларсом Карлом, Кристиной Гельц, Арнольдом Бартетцким, Мадлен Бентин.

Особенно один эпизод врезался в память Зелинского. Уже приняв изрядную дозу пива — особого сорта «Гёзе», название которого восходит, по мнению Ф.Ф., к имени речки, протекающей через город Гослар, Зелинский и его товарищи повздорили с хозяином заведения, который не желал впускать их в подпитии и даже вызвал полицейских. Те составили протокол, изъяв до суда русский паспорт Зелинского. Процесс, однако, привел к оправданию нашего студюозуса, и тот смог покинуть Саксонское королевство как свободный храбрый человек. От той пивной, в которой Зелинский с товарищами скромно кутили в конце 1870-х годов,

остался только павильон во внутреннем дворике доходного дома, выстроенного уже в конце XIX века и недавно отреставрированного как уютный биргартен. Пивная эта и сейчас знаменита на весь Лейпциг под названием «Gosenschenke — Ohne Bedenken». Как бы это перевел Зелинский — «Куда ж еще? В пивную Гозе!»

Несколько десятилетий спустя, признается Зелинский, он вздрагивал, когда в анкетах ему надо было отвечать на вопрос, была ли судимость, а ему приходилось, конечно, писать, что не было.

Почему он пишет об этом, таком незначительном, эпизоде так подробно? Потому, наверное, что это была его молодость. Но, глядя на коллег по немецкому университету, я бы сказал, что главная причина — в другом. Ученая и преподавательская жизнь в живом университете немыслима без таких вот совместных трапез и возлияний. Где с пивом, а где и с вином, как в Италии. Традиция той самой свободы, которую принесли грекам Дионис, а европейцам — Фридрих Ницше. Да, этой традицией надо уметь пользоваться. Ведь главное, все-таки, не сама традиция, а то, что каждое следующее поколение рождает для общего блага.

Но это легко сказать, а как сделать? Зелинский, даже и предупредив читателя, что будет опираться на трагический, иначе говоря, понятый через драму, а значит, и через психологию личности, миф, ни слова не скажет о языке, которым эта книга будет написана. А ведь в ней есть, как минимум, два тогда еще совсем новых речевых пласта, столкновение с которыми было для старика-профессора сильнейшим испытанием. А вот мимо нас с вами, возможно, пройдет незамеченным. Первый пласт — обычная малограмотность. Книга Зелинского адресована людям, почти безнадежно выброшенным с орбиты привычного для него образовательного процесса. Куда? Непонятно! Но это, во всяком случае, будут люди, которые не знают некоторых правил русской грамматики для грамотных. Например, всюду, где так называемая культивированная речь требует писать и говорить «тот», «та», «того» (например, «Зевс сказал Прометею, что тому не следует надеяться на прощение»), Зелинский нарочито упрощает («Зевс сказал Прометею, что ему не следует надеяться на прощение»). Сегодняшний читатель, пожалуй, и не заметит подвоха.

Но есть и куда крутейшие примеры.

«Пенелопа сказала, — пишет Зелинский, - что должна соткать саван для старого свекра Лаэрта. Она днем ткала, а ночью разбирала тканое; но однажды, вследствие предательства прислужницы, ее накрыли за этой ночной работой, и ей пришлось поневоле назначить им срок».

Словечко «накрыли» вошло в лексикон Зелинского из того живого раннесоветского блатного жаргона, знания которого никто требовать еще не мог, но тогда, как и сегодня, молодой читатель легко проглотит всю конструкцию.

Разминувшийся с Зелинским во времени выдающийся польский поэт Збигнев Херберт (1924–1998) писал: «Один из смертных грехов современной культуры — то, что она малодушно избегает фронтального столкновения с высшими ценностями. А также дерзкая убежденность в том, что мы можем обойтись без образцов (как эстетических, так и нравственных), ибо наше положение в мире исключительно и ни с чем не сравнимо. Именно поэтому мы отвергаем помощь традиции, бредем в наше одиночество, роемся в темных закутках покинутой душеньки.

Существует ошибочный взгляд, будто традиция — это нечто подобное унаследованному имуществу и что ее наследуют механически, без усилия, поэтому те, кто выступает против наследования и незаслуженных привилегий, выступают против традиции. А между тем каждый контакт с прошлым, по сути дела, требует усилия, труда, при этом он нелегок и неблагодарен, ибо наше малое «я» верещит и защищается от него.

Я всегда желал, чтобы меня не оставляла вера в то, что великие произведения духа объективней, чем мы. И они будут нас судить. Кто-то правильно сказал, что не только мы читаем Гомера, смотрим фрески Джотто, слушаем Моцарта, но Гомер, Джотто и Моцарт приглядываются, прислушиваются к нам и констатируют нашу суетность и глупость. Бедные утописты, дебютанты в истории, поджигатели музеев, ликвидаторы прошлого подобны тем безумцам, которые уничтожают произведения искусства, так как не могут им простить покоя, достоинства и холодного сияния» (перевод Наталии Горбаневской).

Здесь Херберт прямо цитирует Зелинского, писавшего за полвека до него о традиции, которая может быть мертвечиной, а может — силой возрождения. Зелинскому эта сила была дана, к сожалению, только для внутреннего пользования. Свои мемуары в годы второй мировой войны он писал на немецком языке 1880-х годов, а книгу для русского юношества, написанную в годы гражданской, на языке, который был уже чуть-чуть задет советским веком.

Русский поэт нашего времени, ушедший от нас так же безвременно, как Иннокентий Анненский в 1911, а Адриан Пиотровский в 1938, Виктор Кривулин (1944–2001) напишет в середине 1990-х стихотворение «Русское возрождение».

воскрешая, Бог неистов
то разрушил то отстроит
павильоны эллинистов
в целлулоидных пластронах
целую пожрали вечность
ан пока еще не сыты!
и на что я с ними встречусь
подле статуи разбитой
Мира? анненский зелинский
жебелев или варнеке
поминальные записки
о Всемирном Человеке
вот он есть самоубийствен
и болезненно-веществен
мрамор доразщенный гипсом
до предела в совершенстве
(1994)

Что это за «павильон эллинистов», теперь предстоит выяснить самому читателю.

«...И ТЫ СТОСКУЕШЬСЯ ПО БЕЛЫМ ХРАМАМ И ДУШИСТЫМ РОЩАМ...»

О жизни и книгах Фаддея Францевича Зелинского

«Когда совершилось грехопадение ангелов и дерзновенный замысел понес заслуженную кару, то двое из падших — то были Ориенций и Окциденций, — будучи менее виновны, были признаны достойными пощады. Они не были отвержены навеки; им было дозволено искупить свой грех тяжелым подвигом с тем, чтобы по его исполнению вернуться в небесную обитель. Подвиг же состоял в том, чтобы пройти пешком, с посохом в руке, путь во много миллионов миль. Когда этот приговор был им объявлен, то старший из них, Ориенций, взмолился к Творцу и сказал: «Господи, окажи мне еще одну милость: дай, чтобы мой путь был прям и ровен, чтобы никакие доли и горы не затрудняли меня и чтобы я видел перед собою конечную цель, к которой направляюсь!» — «Твоя просьба будет исполнена», — сказал ему Творец; затем, обратясь к другому, спросил его: «А ты, Окциденций, ничего не желаешь?» Тот ответил: «Нет, ничего». С тем их и отпустили. Тут мрак забвения их окутал; когда они пришли в себя, они очутились каждый на том месте, с которого им следовало начать свое странствие.

Ориенций встал и оглянулся: недалеко от него лежал посох, кругом тянулась, точно сонное море, необозримая, плоская и гладкая равнина, над ней — голубое небо, беспредельное и однообразно-безоблачное; только в одном месте, далеко, на самом краю горизонта, светилась белая заря. Он понял, что это и есть то место, куда ему должно направлять свои шаги; схватил посох, пошел вперед, постранствовал день-другой, затем опять оглянулся кругом, — ему показалось, что расстояние, отделявшее его от цели, не уменьшилось ни на шаг, что он все еще стоит на том же месте, что его окружает все та же необозримая

равнина, что и раньше. «Нет, — сказал он уныло, — этого расстояния мне не пройти». С этими словами он бросил посох, опустился безнадежно на землю и заснул. Заснул он надолго — вплоть до наших дней.

В одно время со старшим братом проснулся и Окциденций. Встал, оглянувшись — за ним море, перед ним овраг, за оврагом лесок, за леском — холмик, на холмике точно белая заря горит. «Только-то! — воскликнул он весело. — Да там я до вечера буду!» Схватил лежавший у его ног посох, отправился в путь: действительно, вершины холмика он достиг еще до вечера, но там он увидел, что ошибался. Это ему только издали так показалось, что заря горит на холмике, на самом же деле на нем ничего не было, кроме нескольких яблонь, плодами которых он утолил голод и жажду; а по ту сторону был спуск, внизу текла речка, за речкой подымалась горка, а на горке сияла все та же белая заря. «Ну что же, — сказал Окциденций, — отдохну, а затем в путь; дня через два буду там, и тогда — прямо в рай». Опять расчет оказался верным, только рая он опять не нашел: за горкой была новая широкая долина, за долиной более высокая гора, вершину которой венчало сияние знакомой зари. Конечно, наш странник почувствовал некоторую досаду, но ненадолго: гора неотразимо манила к себе, там-то уж наверно были ворота в рай. И так все дальше и дальше, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, век за веком; надежда сменяется разочарованием, из разочарования вырастает новая надежда. Он шествует и поныне, овраги, реки, скалы, непроходимые болота затрудняют его путь; много раз он заблуждался, теряя путеводное сияние, совершал обходы, возвращался назад, пока ему не удавалось вновь приметить отблеска вожделенной зари. И теперь он бодро, со своим верным посохом в руке, взбирается на высокую гору; имя ей — «социальный вопрос». Гора крутая и утесистая, много ему приходится преодолевать промоин и чащ, отвесных стен и пропастей, но он не отчаивается; он видит перед собою сияние зари и твердо уверен, что стоит ему добраться до вершины — и ворота рая откроются перед ним.

Эта притча о деятельном Западе (имя ангела Окциденция значит по-русски «Закатный», «Западный») и созерцательном Востоке (Ориенций — «Восходящий», «Восточный») была сочинена Фаддеем Францевичем Зелинским в самом начале нашего, двадцатого столетия. Тогда, в 1903 году, он был уже, по понятиям того времени, пожилым — 45 лет! — и весьма знаменитым человеком. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (т. XII, СПб., 1894), сообщающем, впрочем, и о куда менее замет-

ных личностях, о нем было сказано: «...филолог. Родился в 1859 г. близ Киева. Образование получил в русской филологической семинарии при Лейпцигском университете (добавим, что еще прежде окончил немецкую гимназию св. Анны в Петербурге. — Г. Г.). Получив в 1880 г. степень доктора философии за диссертацию «Последние годы второй Пунической войны», Зелинский работал в Мюнхене и Вене и пробыл в Италии и Греции около 2 лет. Больше всего Зелинский занимался исследованием древнегреческой комедии, которой посвящены его работы на русском, немецком и латинском языках (вторую диссертацию — о греческой комедии — он защитил в 1883 г. в Дорпате, ныне — Тарту, а с 1885 г. стал профессором Санкт-Петербургского университета. — Г. Г.). Ему принадлежат также издания «Царя Эдипа» Софокла и Ливия с русскими примечаниями...»

Уже через десять лет тот же М. Ростовцев, что писал о Зелинском для XII тома Брокгауза — Ефрона (а в недалеком будущем станет одним из крупнейших историков нашего века), посвящает Фаддею Францевичу уже весьма значительную статью. «Научная деятельность Зелинского за последние 10 лет весьма обширна и разнообразна. Интерес его, — пишет Ростовцев, — сосредоточился главным образом на следующих областях филологического знания: 1) Цицерон и его роль в мировой культуре. Наиболее крупные работы его в этой области — <...> перевод речей Цицерона, «Цицерон в истории европейской культуры» («Вестник Европы», 1896, февраль), «Цицерон в череде веков» (на немецком языке. — Г. Г.). «Уголовный процесс 20 веков назад» («Право», 1901, № 7 и 8). 2) Гомеровский вопрос. Особенно здесь ценны: «Закон хронологической несовместимости и композиция Илиады» (в этой работе Зелинский впервые показал, что одновременные события древний поэт изображает как последовательные. — Г. Г.). <...> 3) История религий: «Рим и его религия» («Вестник Европы», 1903), «Раннее христианство и римская философия» («Вопросы философии и психологии», 1903). <...> 4) История идей и история античной культуры. Большая часть главным образом популярных статей в этой области объединена в сборнике «Из жизни идей» (т. 1, СПб., 1905). <...> 5) Психология языка. <...> 6) Сравнительная история литературы. Ряд введений к переводам произведений Шиллера, Шекспира, и Байрона. <...> 7) В связи с реформой нашей средней школы стоят доклады Зелинского, напечатанные в «Трудах комиссии по вопросу об улучшении средней школы»: «Образовательное значение античности» (т. VI) и «О внешкольном образовании» (т. VII)...»

Читатель, взявший в руки эту книгу, готовый погрузиться на время в чуждый и манящий, навсегда исчезнувший да и прежде существовавший только в ночных фантазиях мир, едва ли удостоит даже улыбки кандидовский тон либерала из прошлого века: завеса безмерно трагического для человечества, для каждого народа и, быть может, для каждой семьи XX столетия искажает до карикатуры и «бодрость», и «верный посох», и саму физиономию альпиниста Окциденция...

Многие мудрые старики оптимисты XIX столетия заслужили и снисходительные насмешки, и презрение, и проклятия из уст несчастных обитателей века двадцатого. Мы захотели разговора с теми, кого сейчас почитают милыми и хоть бесполезноучеными, зато настоящими носителями культуры, а немного лет тому назад по пасквилянтскому наущению классика зачисляли в «человеки в футляре»: на беду, чеховский Беликов оказался гимназическим учителем древних языков.

Незадолго до революции 1905 года За торжеством «готтентотской морали» <?>. Живя поверхностной исторической жизнью, человечество не выдерживает испытания на прочность, «на разрыв»: здесь не до истины, здесь и самые цивилизованные народы готовы на целые поколения оторваться от глубинных общих корней, от нерасторжимых сплетений, тесно связывающих каждого с каждым.

В чем же эта глубина исторической жизни народов? Для Зелинского это отнюдь не праздный вопрос: он живет в предчувствии мировых катаклизмов и хочет сделать все, что до наступления этих катаклизмов может успеть человек культуры.

А перед таким человеком — всегда выбор, в основе которого — понимание того, что же такое культура. Если она — пустоцветение, поверхностное убранство жизни, прихоть племенной воли, значит, удел человека — разместить свой ум и душу между откровенным цинизмом и простодушным гедонизмом. Зелинский понимает культуру иначе. Она — воплощение переживаний «большого я», подчинение животного инстинкта (в том числе — безотчетной тяги к «своему» в ущерб «чужому») духовным ценностям человечества, поскольку оно ищет смысл своего появления во вселенной, ибо твердо верит, что этот высший смысл существует. Зелинский далек от вульгарного уподобления культуры труду земледельца — с его неперменной «корчевкой», «прополкой» и «селекцией»: люди очень дорого заплатили за эту простую аналогию.

«Вспомните картину, представляемую нашей Невой, когда дует роковой для нас юго-западный ветер: волны совершенно

явственно направлены на восток; кажется, что река вспять потекла, обратно к Ладожскому озеру — и тем не менее вы знаете, что каждая капля этого озера в силу незримого, но очень реального естественного течения реки попадет в Финский залив и что единственным результатом того встречного течения, вызванного ветром, будет кратковременное наводнение в Галерной гавани. То же самое и в обществе и общественном мнении: и в нем вы имеете не одно течение, а два. Одно — это то, в котором оно отдает себе отчет, бурное, крикливое, капризное, производящее всякого рода наводнения и другие бедствия; другое — то, существования которого оно не подозревает, — тихое, безмолвное и повелительное. Два течения — или, если хотите, две души, два я».

Малое «я» культуры — это мир национальной ограниченности. Малое «я» культуры — это доктринерский монолог отшельника, самовлюбленного гордеца. Большое «я» — разговор «гражданина мира». У каждого европейца, по мысли Зелинского, по меньшей мере — «две родины: одна — это страна, по имени которой мы называем себя, другая — это античность». «Культурная история каждого из новых народов была маленьким ручейком до тех пор, пока в нее не влилась широкая река античности, принеся с собою все идеи, которыми наш ум живет в настоящее время, с христианством включительно... То, что сплавливает воедино европейские народы, несмотря на их не только национальное, но и племенное (имеется в виду расовое. — Г. Г.) различие, — это их одинаковое происхождение от античности» («Из жизни идей», с. 77–78).

Кто-нибудь скажет, что это слишком решительное утверждение, что не все в европейской культуре сводится к античным корням. Но попробуем вслушаться в аргументы Зелинского. Страшное испытание Европы «на разрыв» было впереди, а он легко и задолго почувствовал угрозу — и только благодаря тому, что всю свою жизнь посвятил изучению общей античной родины, которую вовсе не он один называл «основанием единства европейской цивилизации».

В чем же суть «общей античной родины»? Почему изучать античность значит становиться европейцем?

«Что было, то прошло!» — гласит мудрость варвара. «Что было, то есть», — от прошлого не отделаться — не только от дел и событий, изменивших природный ландшафт или политические границы, — но и от слов, кем-то когда-то произнесенных. Поэтому понимание того, что было, это понимание того, что есть. История — не только греческое слово, но и античное понятие.

Оно усложнилось, обросло со временем мякотью новых приемов и радужными покрывами новых событий, но ядро осталось старое — греческое. «Истина — око истории», — говорил Полибий. Семья исторической правдивости, может быть, и в античности не всегда давало всходы. Но без античного историзма европейская цивилизация блуждала бы в зарослях «готтентотской морали».

Философия — другое греческое слово, лежащее в основании европейской цивилизации. В поисках «семени, которое включает в себе античная философия», Зелинский формулирует его как «переубедимость»: ты должен признать самое неприятное для тебя положение, раз оно доказано; ты должен отказаться от самого дорогого тебе убеждения, раз оно опровергнуто, — вот кодекс чести мыслителя. (...) А потому — опровергай, доказывай, но не жалуйся, не злословь, не приходи в азарт. «Древний мир был (чтобы употребить удачное выражение Вл. Соловьева) не однодум, а многодум...» Не монолог — а диалог, то есть, по-русски, раз-говор, — вот условие раскрепощения ума от косного самолюбования и склонного к преступлениям хитроумия: античная философия и есть эта школа раз-ума, в которой непременным условием силы разума остается терпимость к чужому уму да и к своим и чужим «страстям и внушениям». Зелинский далек от безоглядной веры в «человека разумного». «Прежние добрые и злые духи вновь стали управлять людьми под именем страстей и внушений», — констатирует он. Но тут же добавляет: «развивающемуся еще человеку полезно признавать силу разума, даже если бы в последующей жизни ему пришлось узнать, что не разум и убеждение, а страсть и похоть управляют его средой».

Литература — все оттенки ее социального статуса и все основные литературные формы, само искусство порождать и воспринимать тексты, различение поэзии и прозы, устройство книги и библиотеки, — сколько бы ни было тут нововведений (включая и такое неантичное изобретение, как печатный станок Гутенберга!), этот столп европейской цивилизации зиждется на античной базе.

Список этот легко продолжить: здесь будет и религия, и мораль, и право, и политика, — все те элементы европейской цивилизации, забвение античного опыта хотя бы в одном из которых приводит к тяжелейшим потрясениям весь мир, и притом не только европейский.

Один важнейший элемент античного наследия внушает Зелинскому самую серьезную тревогу. Этот элемент — школа. Схоло — досуг по-гречески; время, свободное от всяких полезных

дел, от забот о пропитании, о младших братьях и сестрах или о стариках, свободное от игр и всяких иных удовольствий. Это — время усвоения в массе своей совершенно бесполезного знания. С бессмысленной гимназической зубрежкой накануне первой мировой войны было с успехом покончено в большинстве средних учебных заведений даже очень цивилизованных стран. Берегитесь, увещевал коллег по народному просвещению Зелинский, бесполезные знания древних авторов и языков — не так бесполезны, как кажется. Да, школьная античность трудна, но эта трудность — особого рода.

Ее заметный итог — эрудиция, способность бегло говорить и читать на разных языках и на различные темы — скрывает от человека малообразованного, — которому только и остается кичиться своей практичностью и богатым жизненным опытом, — вещь гораздо более важную, хотя и не бросающуюся в глаза. Речь идет об особом устройстве, которое незаметно вырабатывается в уме школьника всем опытом освоения античности и в конце концов делает его весьма своеобразным собственником: он овладевает своими умственными способностями, его интеллект становится инструментом в руках мастера. Ясное дело, способности у людей разные. Инструмент может оказаться не особенно совершенным, мастер — без искры божьей. Но ведь задача школьной античности в постижении тех приемов мысли и слова, с помощью которых обыкновенный средний человек на протяжении столетий строил европейскую цивилизацию. Что же это за приемы?

Дело в том, что античная цивилизация, имевшая, как и другие, начало, середину и конец, не просто предлагает свой опыт всем любопытным детям других эпох. Античный мир на протяжении всей своей истории вырабатывал инструменты самопознания, пригодные для описания человеческих и социальных отношений любой степени сложности. Эти инструменты многообразны, но материал, из которого они созданы, — один и всем доступен: слово. В устах историка, философа, поэта общезначимые слова работают всякий раз по своей, как теперь бы сказали, программе. Общезначимое, всем понятное («Мы говорим на одном языке») проступает со всей отчетливостью благодаря контрасту с сугубо личным, неповторимым опытом частного человека — философа, историка, поэта. Чем более мои знания совпадают по объему и качеству с тем, что несут в своих сундучках с надписью «школьная античность» мои сверстники, тем легче объясниться мне с людьми моего поколения, тем легче вникнуть в тонкости чужих воззрений, точно определить расхо-